

Сергей Дурылин

В родном углу

Как жила и чем дышала
старая Москва



*«Дар памяти есть величайший дар на земле,
и никто не обделен им судьбою; никто и не
властен похитить его у человека»*

С. Дурылин

Сергей Дурылин

**В родном углу. Как жила и
чем дышала старая Москва**

«Никея»

1924-1941

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)+86.372

Дурылин С. Н.

В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва /
С. Н. Дурылин — «Никея», 1924-1941

ISBN 978-5-91761-721-3

«В родном углу» – автобиографическая книга замечательного русского писателя, богослова, педагога, литературоведа С.Н. Дурылина (1886–1954). В ней собраны бесценные для потомков воспоминания о Москве, в которой прошли детство и юность автора. Страстно любящий свой родной город, проницательный наблюдатель и участник его повседневной жизни, Дурылин создает блестящие по своей выразительности и глубине «обзоры» целых срезов, пластов жизни дореволюционной Москвы. Это и описание купеческого сословия, его характеров и непреложных нравственных устоев, и подробное художественное исследование социального устройства города – гимназий, богаделен, рынков, торговых лавок, транспортного сообщения, общественных столовых, порядка проведения городских праздников и многое другое.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)+86.372

ISBN 978-5-91761-721-3

© Дурылин С. Н., 1924-1941

© Никея, 1924-1941

Содержание

От редакции	5
Предисловие. Карта памяти вечной	6
Вступление	10
Часть первая. Родное пепелище	14
Глава 1. У Богоявления в Елохове	15
Глава 2. О хлебе насущном	21
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Сергей Дурылин

В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва

От редакции

Воспоминания «В родном углу» публикуются по изданию: *Дурылин С. Н. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Издательство журнала «Москва», 2014 / Составление, вступительная статья, подготовка текстов, комментарии А. Б. Галкина; подготовка текстов, комментарии, послесловие М. А. Рашковской.*

Главы 1, 2 и 3 части первой, глава 2 части второй и глава 4 части третьей сверены с авторизованной машинописью (правкой автора) из архива С. Н. Дурылина.

Настоящее издание дополнено главой «Новый год» (Приложение, с. 563), которая печатается впервые по рукописи из фонда С. Н. Дурылина в РГАЛИ. Расшифровка рукописи и подготовка текста А. Б. Галкина. См. комментарий на с. 563.

Все авторские выделения в тексте приведены курсивом и полужирным.

Сокращенные редактором из-за повторов фрагменты авторского текста обозначены угловыми скобками.

Текст С. Н. Дурылина печатается в соответствии с современной орфографией и пунктуацией.

Сохранены без изменений особенности авторской лексики и словообразования.

Библиографические ссылки в основном тексте принадлежат С. Н. Дурылину.

Примечания и комментарии С. Н. Дурылина, а также несколько примечаний его брата Г. Н. Дурылина отмечены в скобках.

Остальные примечания в тексте принадлежат А. Б. Галкину и М. А. Рашковской. Некоторые из них сокращены по усмотрению редактора.

Предисловие. Карта памяти вечной (О Сергее Дурылине и его воспоминаниях)

*Из-за окна тюрьмы ловлю я твой привет,
Свидетель золотой зари моей начальной...*
Священник Сергей Дурылин
13 сентября 1927 года, Бутырская тюрьма

Перед вами одна из тех заветных русских книг, что вышла из кельи сердца – не на славу, а на молитвенную память. Несомненно, что ее место – рядом с аксаковским «Детством Багрова-внука», по соседству с व्यюзными рассказами Василия Акимовича Никифорова-Волгина и «Летом Господним» – счастливым созданием Ивана Шмелева. Тем удивительнее, что к широкому¹ читателю книга Сергея Николаевича Дурылина в полноте своей приходит только сейчас, почти через сто лет после того, как были написаны ее первые страницы. Уже давно погребена чуткая цензура, бдительно опускавшая в слове *Бог* первую букву, а заветный труд Сергея Дурылина все остается в тени нашей словесности. Судьба книги будто созвучна ее застенчивому названию – «В родном углу».

Легко догадаться, что это – воспоминания. Завидев слово «воспоминания», молодой читатель может раздраженно подумать: опять мне будут рассказывать, как хорошо было до 1917 года, как говели и ели грибы.

Нет, это совсем другая книга и о другом.

Дурылин рассказывает о былом, но ностальгическая нота в его повествовании – не главная. Множество «вкусных» бытовых подробностей, о которых сообщает нам автор, не заглушают биения его сердца. Перед нами опыт покаяния, а потом уже картины быта и нравов.

«В родном углу» – дальний, но верный отзвук первых мемуаров в христианской литературе, «Исповеди» Блаженного Августина. Скромнейший Сергей Николаевич нашел бы это сравнение слишком высоким, неоправданным, но нельзя не заметить, как близки в своих чувствах и мыслях два мудрых человека, разделенных без малого двумя тысячами лет.

«Младенчество мое давно уже умерло, а я живу... – дивится святой Августин дару детской памяти, данной человеку, и вопрошает: – А что было до этого, Радость моя, Господь мой?..»

Дурылин, будто продолжая епископа Гиппонского, пишет о том же даре памяти с тем же удивлением: «*Меня уже нет на свете как младенца, тянущегося к цветущей яблоне в саду; меня нет на свете как отрока, впервые читающего Лермонтова за маленьким столиком с зеленым сукном; меня нет уже как юноши, впервые наклонившегося над опаловую волну Белого моря в солнечную ночь; но я, старик, одновременно помню себя и этим ребенком под цветущей вишней, и этим отроком, впервые читающим «Ангела», и этим юношей, склонившимся над северным морем...*»

И вот далее (быть может, самое важное, что открылось Сергею Дурылину в собственных воспоминаниях): «Как утверждают биологи и физиологи, человеческий организм за десятилетия обновляется... до последней клетки. У пожилого человека нет ни одной кровинки, которая была бы в точности та же, что трепетала первым огнем жизни в нем, в ребенке... Законен суровый вопрос: *что же* или *кто же* вмещает в человеке пожилым его память о его бывших существованиях ребенком и юношей?.. *Кто* субъект, *кто* источник этого самопамятования

¹ Текст «В родном углу» в книжном варианте был напечатан впервые и единственный раз в 2014 г. в трехтомном издании, составленном А. Б. Галкиным (Дурылин С. Н. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Издательство журнала «Москва», 2014. – Примеч. ред.).

человека, в котором вмещено единство его сознания от рождения до смерти, в котором заключен стержень человека как личности? На этот грозный вопрос есть один прямой ответ, древний, как человечество: бессмертная душа...»

Читатель прервет меня: да, но ведь я еще не *старик*, слава Богу (кто сейчас в семьдесят лет согласится, что он – старик?). Мне, скажет, жить воспоминаниями еще рано. И о душе я еще успею подумать.

И правда: зачем молодому человеку читать воспоминания? Зачем общаться со стариками? Зачем слушать их рассказы о той жизни, которая давно миновала и никогда тебя не коснется? Ведь в молодости, да и в зрелости, так естественно жить в завтрашнем дне, прячась в радостях и заботах мирской суеты от евангельского: «Безумец, в эту ночь отнимут жизнь твою...»

Что ж, вернемся еще к Августину, к его исповеди перед Богом: «Все вчерашнее и то, что позади него, Ты превратишь в сегодня...» Воспоминания – это дарованная нам возможность превратить вчера в сегодня, вернуть его со всеми чувствами, запахами и красками. Разве не счастье пользоваться этим даром, не ожидая своей обманчиво далекой старости? Разве это не дарованная нам Господом возможность раздвинуть границы собственной жизни, не оставаясь в одной лишь сиюминутности?

«Вспоминая, – пишет Дурылин, – я живу сам и оживляю других, поглощенных временем...» В сопроводительной записке, вложенной в тетрадь с рукописью, Сергей Николаевич пишет: «Каждый должен оставить по себе только одно нужное всем слово: слово о матери...»

Блаженный Августин первые главы своей «Исповеди» посвящает матери, ее терзаниям и горю, когда подростком сын отпал от Христа: «Мать моя оплакивала меня перед Тобою больше, чем оплакивают матери умерших детей...»

У Дурылина – через многие сотни лет, через тьму веков! – то же горькое отпадение от веры в отрочестве, те же горькие слезы матери и то же позднее покаяние. «Помню, я – далеко за полночь, притворив дверь в залуцу, – читаю какого-то разрушителя ее и моей веры... Веры той, которой учила меня мать, во мне осталось на доньшке, на самом доньшке, и я даже не знаю, где оно, это доньшко? Есть ли оно? Я читаю. Все смутно во мне... Она думает, что я сплю... Стоит на коленях пред родовым Спасом...

– Вразуми. Настави. Прости.

...Она никогда не «обращала» меня в веру отцов. Она не упрекала ни в каком неверье. Она только молилась тайно – и просила. И выпросила мне то зернышко веры, которое пусть не дало и не даст ростка зеленого и высокого, но и не умрет в душе, пока не умрет сама душа...»

Читая Блаженного Августина и вслед за ним – Сергея Дурылина, казавшегося своим передовым современникам «отсталым», «блаженным», мы до холода на спине узнаем свои ошибки и падения, свое жестокое сердце и невольно переживаем покаяние за грехи юности.

Это очень нелегкое чтение, но разве не счастье, читатель, если твоя юность еще не прошла и многое, если не все, на карте твоей памяти еще поправимо! Можно сегодня же вечером «перезагрузить» отношения с близкими: попросить прощения, переменить решение, принятое в ожесточении сердца.

А что же остается нам, чья юность давно прошла, кто поднимает на ноги детей или внуков и приходит порой в отчаяние и уныние от того, что *наши* дети вдруг резко, не оглянувшись на нас, уходят за церковную ограду? Пусть судьба Сергея Дурылина будет нам в укрепление и надежду.

А еще обязательно прочитайте у Дурылина о бабушке. Как сразу же вам захочется побежать к своей бабушке в соседнюю комнату или тут же, не откладывая до лета, поехать в тот город, где живет (дай-то Бог!) бабушка, чтобы «уткнуть лицо в ее колени, прижаться щекой к ее мягкой серенькой фланельке и чувствовать на себе ласкающее тепло ее маленьких рук. И есть особый запах бабушки. Он весь из уюта, тепла, любви, из поздних настурций и герани на

окне, из антоновских яблок и еще из чего-то, чем пахнет и в стеклянном шкапу с игрушками: тихий, мягкий, вечерний запах...»

Сергей Николаевич начал свою сокровенную книгу, когда ему было сорок пять, на одре болезни, чуть было не ставшей смертельной. «Я почувствовал вдруг, что скоро умру, и больной, замирающей от боли рукою, лежа в постели, кое-как, наспех, написал о маме и маме мамы, моей бабушке...»

Поправившись, отложил написанное, с неизбежностью окунувшись в текучку житейских и литературных забот. К рукописи автобиографической повести (а если не было возможности – к мыслям о ней) обращался в самые трагические моменты жизни – как к делу спасения души.

А трагедии накатывали одна за другой. Аресты, тюрьма, ссылка, болезни и как венец страданий – война. В сентябре 1942 года, пережив в Болшеве налеты фашистской авиации и все тревоги первого года Великой Отечественной, Дурылин написал предисловие к будущей книге: «Каково бы ни было "сейчас", что бы ни сулило близкое будущее, захотелось живой светлой встречи с отцом, с няней и опять с мамой, захотелось прямой встречи с давно отцветшим детством... В неоспоримом, великом и радостном акте памятования, выражающем живое единство человеческой личности на всем протяжении ее земного существования, заключено неоспоримое свидетельство бессмертия души человеческой».

Мы живем в странное время, когда забвение стало злым правилом, несчастной слабостью всего общества.

Никогда в России так быстро не забывали ушедших, как сейчас. Никогда люди так легко не отказывались от груза родовой и дружеской памяти, оставляя дело памятования на попечение Яндекса и Гугла. «В интернете всё есть. Будет интересно – сам посмотрю», – прерывает внук бабушку, только собравшуюся рассказать ему о чем-то дорогом и важном.

О чем будет вспоминать этот молодой человек, когда сам станет дедушкой? О компьютерных играх, которым отдал свою юность? О фейсбучных друзьях, которых никогда в жизни так и не увидел? О прелестях Сети, в которой он зависал, пока в соседней комнате бабушка перебирала старые фотографии? Что ж, возможно, и в этих воспоминаниях будет что-то по-своему замечательное. Как сказал недавно Резо Габриадзе: «Через пятьдесят лет интернет будет вспоминаться, как оренбургский пуховый платок». Но на каком языке он будет вспоминаться? Не останутся ли к тому времени от русского языка одни «лайки», значки? Будут ли люди плакать над Пушкиным и Тургеневым, Аксаковым и Шмелевым, Никифоровым-Волгиным и Дурылиным?..

В дурылинском повествовании есть та гармоничная красота русской словесности, которая низводит на душу если не смирение, то тихость. Сергей Николаевич писал, что в доме его бабушки было не только тихо, но и тихостно. «Тихость», – поясняет он нам, – это внутреннее состояние души, врожденное или приобретенное нравственным усилием и обнаружимое вовне той тишиною, которая бывает в высях гор...»

Когда в конце 1990-х годов в книжном магазине на Таганке я увидел книгу еще неведомого мне Дурылина, я зачитался первой же случайно открывшейся страницей. Посмотрел на ценник и понял, что книжка мне не по карману. Так растерянно стоял я с ней между полок, пока не вспомнил, что у меня есть с собой ручка и блокнот. Я сел у окна и стал выписывать так взволновавшие меня строки. Выписывал, пока рука не стала неметь.

Не помню, что же именно меня так тронуло в тех строчках – в них не было ни поразительных фактов, ни каких-то особенно острых мыслей. А вот, быть может, тихость прозы Дурылина меня и тронула – посреди Москвы, на Таганском перекрестке раздираемой страстями столичной жизни. Это бережное перебирание четок старой московской жизни: храмов, людей, улиц, товаров и копеечных цен на всё и вся. А эта простодушная ревизия сладостей, отведаанных в детстве, проведенная стареньким автором в голодные года, – как она напомнила мне наши такие же «голодные» разговоры в студенческом колхозе начала 1980-х, когда, склонив-

шись над бороздой, мы по очереди потчевали друг друга рассказами о маминых и бабушкиных вкусностях. А все эти ласковые названия старомосковских местечек – Плетешки и Тишина, Ольховцы и Елохово, Коровий брод и Гаврикова площадь, – они ложатся на душу как бинты...

Когда разрушали Страстной монастырь, Ирина Алексеевна (жена Дурылина, спасительный помощник во всех трудах его и житейских тяготах) попросила рабочих отдать ей окна, выломанные из келейного корпуса. Эти светлые арочные окна можно сегодня увидеть в Доме-музее Дурылина в Болшеве. Они стали образом и судьбы Сергея Николаевича Дурылина, и всего им написанного. Он смотрел на жизнь и на людей в чистое окно Христовой любви.

В декабре 1951 года Сергей Николаевич получил от своего старого друга Бориса Пастернака рукопись первой книги «Доктора Живаго». Дурылин успел незадолго до смерти прочитать роман и написать слова поддержки тому, чей поэтический дар Сергей Николаевич первым угадал еще в 1908 году.

«Шли и шли и пели "Вечную память"».

И он был среди певших.

Дмитрий Шеваров

Вступление

Я, верно, никогда не напишу своих воспоминаний. Сердце глохнет и, не научась забывать, приучилось молчать. «Молчи, скрывайся и тай»². Это уже не повеление ему – это его бытие. Былое подобно стране, которую когда-то посетил, в которой когда-то жил, и теперь, когда не живешь и не можешь жить в ней, а пытаешься рассказать о ней, встречаешь одно неодолимое препятствие, которого, кажется, еще никто, кроме С. Аксакова, не преодолел, рассказывая о былом: можно весьма точно рассказать о формах поверхности этой страны, о ее растительности, о ее племенах и городах, но как передать тот воздух, которым дышалось, когда жил в ней? Как вернуть тот аромат цветущих садов и лугов, который невозвратим? Как передать тот свет, который струился и трепетал над этими лугами, лесами и равнинами?

Человек со всеми его делами и деяниями – передаваем ли без той атмосферы мыслительной, сердечной, духовной, которую он был окружен когда-то, которую он дышал, в которую сам вносил свое дыхание детства, отрочества, юности, молодости? Как поймать это дыхание, давным-давно канувшее в вечность? Как воплотить его в слова, в образы, как передать его другим? Все это невозможно, а без этого какая правда в воспоминаниях? Человек без дыхания – мертв.

И правда верных очерков поверхности страны, ее растительности, населения и т. д., конечно, полезная и нужная, – лишь та правда, о которой я, еще юношей, обмолвился стихом:

Не до конца правдива наша правда,
И вымысел наш лжив не до конца.

Да, инвентарь, опись прошлого мы составить можем, но его душа, его дыхание – вишневый белый сон младенчества, первые грозы ранней юности, «осенний мелкий дождичек» этих же первых юных лет, впервые предупреждающий о том, что жизнь скоро и грубо сорвет с календаря листок с «апрелем» и заменит его «ноябрем», – все это «атмосферическое», подлинно живое, что было в минувшем, не только невозвратно (в этом не вся еще боль) – оно непередаваемо, ибо оно... невоспоминаемо!

И единственное, что мы можем сделать, чтобы как-то сохранить это «дыхательное» своего прошлого, – это сберечь подлинные листки своего былого «апреля», календарные подлинные листочки, полные внешним дыханием, и, подбирая один к другому, прочесть их в свой ноябрьский день, и по-ноябрьски поскорбеть над ними, «осенним мелким дождичком» поплакать, – и кое-где ноябрьским же хмурым, серым карандашом то поправить апрельскую, слишком апрельскую (а иногда и первоапрельскую) ошибку молодости, то отметить правду весенней, а не осенней мудрости жизни, то просто подчеркнуть словечко-другое, то поставить осторожный «?» – знак вопроса там, где юность ставила «!» – знак восклицания.

Вот все, что можно в хмурый ноябрьский день сделать карандашом со старыми листочками отрывного календаря, возвещавшими о веселых и праздничных числах апреля.

* * *

Так я писал двенадцать лет тому назад³, в хмурый ноябрьский день, в глухом Киржаче, под горький шум дождя за тощей бревенчатой стеной. Тогда же написал я о той, кто мне был

² Начало стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!».

³ С. Н. Дурылин отбывал третью ссылку в Киржаче с 1930 г. (после Челябинска и Томска). Следовательно, первую часть «Вступления» он пишет в 1930 г. в Киржаче, а вторую – в Болшеве в сентябре 1942 г.

всего дороже в первые тридцать лет моей жизни, – о матери моей⁴. Я был тогда болен, почему-то мне казалось, что недолго мне жить на свете, и я спешил записать о той, чья память сердца была мне всего драгоценней. Я хотел, чтоб о ней сохранил эту память мой брат и его сын⁵; я желал, чтобы мать мою узнала та, кто во вторую половину моей жизни заступила ее место возле меня, – моя Ирина⁶. Но я остался жить и работать. В тихий городок постучался ко мне новый оживленный труд. Я уехал из него через три года, с несколькими томами литературных работ и с первой главою воспоминаний. (Впрочем, первоначальную их главою надо считать главу о кормилице: ею начиналась более ранняя попытка моя писать воспоминания.)

Одиннадцать следующих лет были заполнены усиленной литературной работой. Она не оставляла ни времени, ни сил ни для чего другого. Напрасно милый И. Н. Розанов⁷ толкал меня на писание воспоминаний. Я не мог позволить себе этой роскоши – остаться наедине со своим прошлым, но как горько мне было лишать себя этой встречи с самим собой и с теми, кто был мне дороже меня самого! Я так ушел в работу дня, что готов был спросить почти с отчаянием: «Былое было ли когда?»

Но вот пришла «гроза осенней непогоды»⁸. Оборвалась литературная работа. Настоящее и будущее было вмещено в «сейчас»: бросит ли бомбу на крышу нашего дома вот этот немецкий аэроплан? Прорвутся ли немцы вот к *этому* пункту, от которого рукой подать до нашего дома? И тогда от этого «сейчас» потянуло к прошлому, к его «прекрасному далеку», как выражался Гоголь. Каково бы ни было «сейчас», что бы ни сулило близкое будущее, захотелось живой светлой встречи с отцом, с няней и опять с мамой, захотелось прямой встречи с давно отцветшим детством, с отшумевшей молодостью, – и я начал писать воспоминания. Написал об отце, о няне, о родном пепелище. Болея глазами, я диктовал Ирине и брату воспоминания об учителях.

Затем опять произошел перерыв в полгода. Но осенью, в родное мое время золотого угасания природы, просыпается «память сердца»⁹, перечит, враждует и побеждает печальную память рассудка, – и меня опять потянуло к воспоминаниям.

Былое было ли когда?

Сколько злых сил враждует на свете с былым; скучно их перечислять, но все они хотели бы, чтобы у целой страны, у целого народа и у отдельного человека не было его былого, еще точнее: чтобы не было воспоминаний о былом.

Разрушители всех званий и типов – вплоть до немцев, сбрасывающих бомбы на музеи и архивы, – стремились и стремятся лишить отдельных людей и целые народы их воспоминаний, все равно, выражены ли они в монументальном каменном памятнике или в зыбкой странице тетради частных записок.

⁴ Дурылина Анастасия Васильевна (урожденная Кутанова) – мать С. Н. Дурылина. Речь о ней пойдет во второй части книги – «Родные тени», в главе «Бабушка и мама».

⁵ Дурылин Георгий Николаевич (1888–1949) – младший брат С. Н. Дурылина, технолог (некоторые его комментарии к книге «В родном углу» мы приводим в данном тексте); сын Г. Н. Дурылина и племянник С. Н. Дурылина – Дурылин Сергей Георгиевич (1922–2013), инженер, участник Великой Отечественной войны. Его день рождения совпал с днем рождения С. Н. Дурылина (27 сентября), и потому он был назван в честь дяди. Его военная переписка с семьей, в том числе с С. Н. Дурылиным, напечатана в журнале «Роман-журнал XXI век» (2010. № 5. Публикация А. А. Аникина и А. Б. Галкина).

⁶ Ирина Алексеевна Комиссарова-Дурылина (1899–1976) – жена С. Н. Дурылина.

⁷ Розанов Иван Никанорович (1874–1959) – историк русской поэзии, библиограф и книговед, брат академика Матвея Никаноровича Розанова. Вместе с С. Н. Дурылиным они учились у одних и тех же учителей (Розанов несколько раньше Дурылина) в 4-й московской гимназии, о которой речь пойдет в третьей части книги воспоминаний «В родном углу».

⁸ Имеется в виду начало Великой Отечественной войны. Дурылин цитирует строчку из стихотворения поэта В. И. Красова (1810–1854) «Октябрьский день, но чудная природа...».

⁹ Цитата из стихотворения «Мой гений» (1816) поэта пушкинской поры Константина Николаевича Батюшкова (1787–1855): «О, память сердца! Ты сильнее рассудка памяти печальной...»

Но в отпор всем этим вооруженным и невооруженным старым и новым разрушителям памяти сердца, народного и лично-человеческого, хочется привести слова мудрого, почти никем не известного поэта:

Воспоминанья вы убить хотите?!
Но сокрушите помыслом скалу,
Дыханьем груди солнце загасите,
Огнем костра согрейте ночи мглу!..

Воспоминанья – вечные лампы,
Былой весны чарующий покров.
Страданий духа поздние награды,
Последний след когда-то милых снов.

На склоне лет живешь, годами согнут,
Одна лишь память светит на пути...
Но, если вдруг воспоминанья дрогнут, —
Погаснет все, и некуда идти¹⁰.

Случевский прав. Святое право на воспоминания есть собственность каждого, как бы одинок или короток ни был его путь, как бы безвестна и темна ни была его жизненная дорога. Подвиг веры, бремя мысли, ношу искусства не всякому суждено нести на земле, но труд бытия несет каждый человек, и у каждого есть право вспомнить об этом тяжелом труде и рассказать о нем себе и другим. Дар памяти есть величайший дар на земле, и никто не обделен им судьбою; никто и не властен похитить его у человека.

В памяти человека о себе, о самом раннем начале своего бытия и о дальнейших путях его и перепутьях заключено лучшее свидетельство «самостояния человека» (выражение Пушкина), вернейшее доказательство высоты и независимости бытия человека сравнительно с существованием всех и всего, что живет на земле помимо человека.

Я помню, следовательно, я существую – вот истинный закон человеческого бытия, к которому лишь приближаются в своем существовании высшие животные.

Как утверждают биологи и физиологи, человеческий организм за десятилетия обновляется в своем постоянном естестве весь, всецело и сполна, обновляется до последней клетки. У пожилого человека нет ни одной кровинки, которая была бы в точности та же, что трепетала первым огнем жизни в нем, в ребенке. Весь плотный состав взрослого человека иной, чем был у него, у ребенка.

И, однако же, взрослый, пожилой, старый человек помнит себя младенцем, ребенком, отроком, юношей. Памятью запечатлевает человек непрерывное единство своей личности; памятью объединяет человек все моменты своего существования ребенком и юношей в едином «я есмь» своего бытия.

Если между ребенком и им же самим, превратившимся в пожилого человека, нет кровинки, вполне общей и в точности схожей, нет клеточки не обновившейся, нет атома не изме-

¹⁰ Цитата из стихотворения «Воспоминанья вы убить хотите...» К. К. Случевского из книги стихов «Песни из "Уголка"» (1895–1901). Вероятно, названия книг С. Н. Дурылина «В родном углу» и «В своем углу» ассоциативно связаны с этой поэтической книгой Случевского, так же как и с книгой Вяч. Иванова и М. О. Гершензона «Переписка из двух углов» (Пг.: Алконост, 1921); в ней оба писателя, жившие вдвоем летом 1920 г. в одной комнате в здравнице для работников науки и литературы в Москве, написали друг другу из разных углов комнаты 12 полемических писем культурно-философского содержания. Случевский Константин Константинович (1837–1904) – русский поэт, писатель, драматург, переводчик. Дурылин опустил две последние строфы его стихотворения.

нившегося, – то законен суровый вопрос: *что же* или *кто же* вмещает в человеке пожилom его память о его былых существованиях ребенком и юношей? *Что* или *кто* в человеке старом помнит его былое бытие молодым и юным? *Кто* субъект, *кто* источник этого самопамятования человека, в котором вмещено единство его сознания от рождения до смерти, в котором заключен стержень человека как личности?

На этот грозный вопрос есть один прямой ответ, древний, как человечество: **бессмертная душа**.

В неоспоримом, великом и радостном акте памятования, выражающем живое единство человеческой личности на всем протяжении ее земного существования, заключено неоспоримое свидетельство бессмертия души человеческой – свидетельство, подтверждаемое опытом воспоминаний, доступных каждому человеку.

Меня уже нет на свете как младенца, тянувшегося к цветущей яблоне в саду; *меня* нет на свете как отрока, впервые читающего Лермонтова за маленьким столиком с зеленым сукном; *меня* уже нет как юноши, впервые наклонившегося над опаловую волну Белого моря в солнечную ночь; но я, *старик*, одновременно *помню* себя и этим ребенком под цветущей вишней, и этим отроком, впервые читающим «Ангела»¹¹, и этим юношей, склонившимся над северным морем, я *помню* себя в этих ребенке, отроке, юноше и ощущаю их небытие вовне (ибо их нет в раздельности, во временном порядке их явления на земле) как действительное *бытие* во мне самом, в единстве моей личности, в неразложимости единого моего: «я *есмь*».

Вспоминая, я живу сам и оживляю других, поглощенных временем, более того: я живу в других, я живу в чужом или стороннем бытии, как в своем собственном.

Небытие – не смерть и не ничто! Не может
Тот, кто не возникал, пройти в небытие!
В небытии людей – особый облик жизни
И несомненное бессмертие мое¹².

Как бы ни была любая книга воспоминаний печальна по своему непосредственному содержанию, она всегда радостна потому, что самым фактом памятования, которому обязана своим существованием, она утверждает бытие.

Казнь забвением – самая страшная из казней, постигающих человека, и недаром Церковь, опуская человека в землю, молит о памятовании его: «И сотвори ему вечную память», – молит о нескончаемом бытии человека в нескончаемой и неисчерпаемой памяти Божией.

Эта вечно сияющая память, победительница времени с его темнотою забвения, признается Церковью одним из высочайших свойств Божиих.

Человеку бесконечно далеко до этой Животворящей Памяти, но он не был бы человеком, если б его не просветлял один из бесчисленных лучей этого Светозарного Солнца Памяти.

Если несколько слабых искр этого единого луча отразится в этой книге воспоминаний, ее существование будет оправданно.

Болшево. 20. IX. 1942

¹¹ Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Ангел».

¹² Вероятнее всего, С. Н. Дурылин цитирует собственное стихотворение.

Часть первая. Родное пепелище

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

*Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как... пустыня
И как алтарь без божества.*

Пушкин

Глава 1. У Богоявления в Елохове

«Николаевская, 72» – так, еле научившись писать, писал я в Петербург к любимой сестре своей (по отцу) Варе, вышедшей туда замуж, и мне, ребенку, казался скучен такой адрес. Я тогда еще не получал писем, но отцу или матери писали так: *«В Москву, у Богоявления, что в Елохове, в Плетешках (или в Плетешковском переулке), в собственном доме»*.

Петербургский адрес и нынешний московский (Полянка, 23, 14) – это не более как условный почтово-телеграфный значок. Старый московский адрес был сгустком исторически сложившейся народной жизни, был живым свидетелем этой жизни.

«У Богоявления, что в Елохове»!

Этим не только назывался церковный приход, к которому мы принадлежали: церковь, где нас крестили, венчали и отпевали, – этим указывалась живая связь нашей местности с историческими судьбами Москвы.

Когда отец отправлялся в лавку, в Богоявленский переулок между Никольской и Ильинкой, или когда мама собиралась за покупками в ряды, на Красную площадь, – это называлось ехать в *город*. Это и действительно значило ехать в *город*, за каменные стены Китай-города, через Ильинские или Владимирские ворота, крестясь на образа с теплящимися лампадами над этими городскими старинными крепостными воротами. Это же значило, что в Елохове, где мы живем, не город, а что-то другое. Так это и было в старину. Елохово в XVI веке было пригородным селом. Свое имя оно получило от елохи, ольхи¹³; соседняя местность, на северо-запад от Елохова, и в конце XIX века называлась Ольховцы.

Подмосковное Елохово было родиной подвижника, высоко чтившегося старою Русью, пред кем безмолвствовал Иван Грозный и о ком англичанин Д. Флетчер¹⁴ с уважением и удивлением писал в своем «Сказании о Московии» как о праведнике, «который решился упрекать покойного царя в его жестокости и во всех угнетениях», каким он подвергал народ. Елохово было родиной Христа ради юродивого, блаженного Василия, чьим именем народ назвал место его погребения – великолепный Покровский собор, воздвигнутый зодчими Бармой и Постником по приказу Ивана Грозного. В святцах 1646 года сказано: блаженный Василий «родился от отца Иакова и матери Анны в Царствующем Граде Москве у Пречистыя Богородицы Владимирския на Елохове». Это было в 1468 году. В одном из списков жития Василия Блаженного писано: «Егда доспе возраста того внеже обычно отроку навykати научиться рукоделию, грамоте бо не учиси, но отдан бысть родителями рукоделию сапожнику»¹⁵. Эта старинная запись описателя жития была жива в народной памяти исконных насельников Елохова; памятовали и то, что блаженный, обличавший царя, родился в Елохове, и указывали место рождения, во владении Сохацкого (80-е годы), на границе между Елоховом и Красным Селом, памятовали и то, что блаженный Василий был протест родом и сапожник по ремеслу. В храме Богоявления, что в Елохове, была икона Василия Блаженного, где он изображен был нагоходцем, с еле прикрытыми чреслами.

Памятовало Елохово и другое, гораздо более близкое событие на своей жизни – избавление от холеры в 1830 году. Ежегодно ранней осенью в храме Богоявления¹⁶ совершалось в вос-

¹³ См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Изд. 4-е. Т. 1. С. 1291. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

¹⁴ Флетчер Джайлс (ок. 1549–1611) – английский писатель и дипломат. В 1588–1589 гг. – посол в России. Сочинение «О государстве русском» (1591) – одно из самых подробных сообщений иностранцев XVI в. о России.

¹⁵ Протоиерей Н. И. Кузнецов. Святые блаженные Василий и Иоанн, Христа ради (юродивые), Московские чудотворцы. Историко-агиографическое исследование. М., 1913. С. 332, 335, 345. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

¹⁶ История храма Богоявления была историей роста самого Елохова. До 1722 г. здесь существовала деревянная небольшая церковь. В 1739 г. была выстроена и освящена каменная, а к половине XIX в. уже существовал великолепный храм, донныне являющийся одним из лучших архитектурных украшений Москвы. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

поминание этого избавления торжественное богослужение: служил архиерей, вся церковь была празднично освещена, а по окончании обедни архиерей с иконами и хоругвями шествовал с крестным ходом на базарную площадь, на так называемый Немецкий рынок, к часовне, и там, пред чтимыми иконами, свершалось благодарственное молебствие. По его окончании большой крестный ход, разбившись на отдельные небольшие крестные ходы, возвращался в храм Богоявления разными путями. Старались обойти с иконами и крестами как можно больше улиц и переулков, чтобы соединить все углы и закоулки Елохова в общей радости и благодарности Богу, стремились никакой закоулочек и тупичок не обойти Божьим светлым посещением. Все улицы и переулки, навстречу крестным ходам, были усыпаны травой, листьями, цветами. Помню, как дворник косил в саду траву «под иконы» и как мы, дети, с особым удовольствием рвали астры и георгины, анютины глазки и настурции, чтобы посыпать ими зеленый ковер, расстелившийся перед нашим владением навстречу Спасителю, Владимирской Божьей Матери и Николе Угоднику. Мы встречали иконы, стоя всем домом перед калиткой, и, крестясь, на ходу прикладывались к иконам.

Храм Богоявления, что в Елохове, считался в Москве самым поместительным из всех приходских церквей. Любители спорить утверждали, что больше Богоявления был храм Василия Неокесарийского на Тверской, но им возражали, что не больше, а равен. По величественности здания с высоким светлым куполом, свидетельствующим, что строивший его талантливый архитектор Тюрин¹⁷ помнил о Петре в Риме, церковь Богоявления казалась не приходским храмом, а собором большого города.

Да Богоявленский приход и был по пространству и населению равен хорошему процветающему уездному городу. Вокруг Елохова были расположены слободы и села, также не входившие некогда в пределы Москвы: с запада – две Басманных, Старая и Новая, некогда слободы «басманов», дворцовых пекарей; с северо-запада – Ольховцы, с рекой Ольховкой, с прудами и дремучими садами, сохранившимися от времен стародавних; на север было Красное Село с церковью Покрова, с Красным прудом, примыкавшим непосредственно к Ярославскому вокзалу и засыпанному уже после 1905 года; на северо-восток и восток Елохово упиралось в то самое село Покровское-Рубцово, о котором сложена известная песня «Во селе Покровском», приписываемая народной молвой императрице Елизавете Петровне, которой принадлежало Покровское-Рубцово; на юго-восток лежала знаменитая Немецкая слобода (или Кукуй), вскормившая Петра I; на юг было Гороховое поле¹⁸, с бывшим *загородным* дворцом Разумовского, превращенным в женский институт, и с церковью Вознесения, построенной самим М. Казаковым; юго-западный угол занимал Разгуляй, некогда при московских царях славившийся разгульным кабаком, а в наше время вмещавший «храм науки» для всего Елохова – 2-ю классическую гимназию.

Приход Богоявленский был шире и больше самого Елохова: он включал бывшую Немецкую слободу, превратившуюся в густонаселенный фабричный район, и огромную «палестину» (это слово было в ходу для обозначения большого пустынного пространства) между Красносельским¹⁹ и Рыкуновым переулками²⁰, застроенную лабазами и амбарами, питавшими Москву мукою и крупой, поступавшею с товарной станции Рязанской железной дороги. От Язуы, отделявшей Немецкую слободу от Лефортова, до Басманных, от Красносельской до Вознесенской²¹ – это по плану Москвы был здоровый кус города, пестрый по населению и еще более пестрый по жизненному укладу. Усталый ветеран старинной Немецкой слободы

¹⁷ Тюрин Евграф Дмитриевич (1795 или 1796–1872) – русский архитектор. По его проекту в 1830–1831 гг. перестроены дворец, манеж, въездные ворота в Нескучном саду. Собор Богоявления в Елохове построен в 1837–1845 гг.

¹⁸ Ныне улица Казакова.

¹⁹ Ныне Средняя Переяславская.

²⁰ Ныне Балакирев переулок.

²¹ Ныне улица Радио.

– лютеранская «кирка» св. Михаила; осколки Петровской эпохи в виде домов Брюса, Меншикова, Монса, давным-давно перешедших к купцам и фабрикантам; Головинский дворец, в котором останавливались при наездах в Москву «Елизавет 1-я» и Екатерина II и в котором Александр I вызвал к дворянству и купечеству о помощи против Наполеона, – дворец, давно превратившийся в холодное, угрюмое пыльное здание Военного архива; остатки Лефортовского дворцового сада с неподвижными прудами, затянутыми зеленой ряской, с темными одичалыми липовыми аллеями, с многоколонной беседкой Миловидой с изломанной эоловой арфой; загрязненное, захудалое, застроенное мещанскими домишками «владение Ананьиных», на пустыре которого стоял некогда дом, в котором родился Пушкин. И бок о бок, вперемежку с этими остатками петровской Московии, изнеженной эпохи императриц и дворянской Москвы конца XVIII – начала XIX столетия, возвышались высокие, обидно безобразные кирпичные корпуса фабрик, трехэтажные рабочие спальни, каменные купеческие лабазы с кулями муки, холодные, мрачные амбары со свинными и бычьими тушами, кокетливо-безвкусные купеческие особняки с резными металлическими навесами над подъездами, безархитектурные, все на один пошиб, доходные дома в три, редко в четыре этажа, бесцеремонно, как хищники, ввалившиеся в вспугнутую стаю одноэтажных домиков и домушек с антресолями и с бельведерами, оставшихся от того времени, когда эта местность вблизи Головинского дворца была модной в дворянском кругу. К характеру местности, начинавшей жить усиленной промышленно-торговой жизнью, очень шло, что в ней (и для контраста – на Коровьем броду!) находилось Высшее техническое училище, где уже начинал читать свои лекции будущий отец русского воздухоплавания профессор Н. Е. Жуковский, славившийся тогда больше своею феноменальной рассеянностью, чем своими научными заслугами. В Техническом училище уже в 1890-х годах начинали пробиваться первые ключи революционного движения, а в 1905 году оно на несколько дней, пока там лежало тело убитого большевика Баумана, стало революционным очагом для всей Москвы: оттуда направилась через весь город знаменитая похоронная демонстрация с гробом Баумана.

Но не менее характерно для местности, что здесь же, в тиши еще не порубленных садов, мирно и патриархально вели свое сентиментальное существование Елизаветинский женский институт для благородных девиц и «Отделение для малолетних» Николаевского института. В елоховской тиши ютилось много богаделен, приютов и иных благотворительных и богоугодных учреждений.

Под боком была Рязанская железная дорога, но с «городом» Елохово соединялось тихой конкой, которую обывательницы предпочитали называть «каретой», да ямщиками, немногим более скороходными «линейками», а в зимнюю пору – широкими, развалистыми санями, называемыми «узелками».

Как густо было заселено простым народом, мастеровыми и фабричными (слово «рабочий» в широком просторечье редко употреблялось) Елохово, можно было видеть, если войти в церковь Богоявления в храмовый праздник или, еще лучше, в Светлую заутреню.

В Великом посту, особенно на первую, средокрестную (4-ю) и Страстную неделю, был в церкви неисчислимый наплыв исповедников и причастников. В пасхальную ночь еще только начинали ударять в большой (легко сказать, 1000-пудовый!) колокол на высокой колокольне, на самом верхнем ярусе которой испокон веку было гнездо сокола, – а церковь уж полным-полна: стоят плечо с плечом, грудью в спину, спиной в грудь. Несколько тысяч человек в церкви – и все «простого» народу: в армяках, в чуйках, в высоких сапогах, с волосами в скобку, густо промасленными деревянным маслом. Истово крестятся, низко кланяются. Теснота была так велика, что свечи чадили и гасли от спертого воздуха, капало с потолка, со стен текло. Для порядка при свершении религиозных церемоний (раздача вербы или святой воды, прикладывание к «празднику» – к вынесенному на середину церкви образу, христосование с духовен-

ством) в церковь вводился наряд полиции во главе с околоточным, и городовые были сущими мучениками: так сжимала, давила и теснила их необъятная толпа.

Когда церковный староста – это почетное звание долгие годы находилось в роде крупных мясников Калининых – в большой праздник шел по церкви с емким блюдом, на его сюртуке не оставалось в целости ни одной пуговицы, с него градом лил пот, и на середине церкви ему посылали на смену другое запасное блюдо: под первым у него деревенели руки – до того оно было наполнено горой медных и серебряных монет.

Для воров тут был простор; в жуткой тесноте они проделывали невероятные вещи: например, наметив даму в черно-бурой лисьей шубе или ротонде, они, плотно прижавшись к ней сбоку, спереди и сзади, преблагополучно вырезывали из ротонды большой клин драгоценного меха и исчезали с ним в толпе.

Теснота в церкви Богоявления на Пасхе и в большие праздники была так велика, что нечего было и думать идти туда с детьми. Нас с братом не прежде, как мы достигли 10–11 лет, решились взять к Пасхальной заутрене к Богоявлению, а до того по большим праздникам мы ходили в домовую церковь при 2-й мужской гимназии.

Для освящения пасок и куличей на «монастыре»²², в церковной ограде, строился большой временный навес со стойками и полками, еле вмещавший принесенные горы куличей, пасок и яиц с зажженными на них свечами: так их было много!

Приход был так велик и обилён народом, что, начав пасхальный обход прихожан с первого же дня Пасхи, причт еле-еле заканчивал его к Фоминой неделе, а иногда и не успевал закончить: все охоче и приветливо принимали причт с крестом – все, от первостатейных богачей до обитателей углов в сырых полуподвалах на Немецком рынке.

На Страстную и Светлую неделю немало фабрик в Елохове, особенно небольших ткацких и бумагопрядильных, немало ремесленных заведений (бондарных, слесарных, столярных и т. д.) прекращало работу, и мастеровые уезжали на праздник в деревню, под Москву или в ближайшие уезды соседних губерний. Когда же на Фоминой неделе в этих фабриках и заведениях вновь начинали работать – мастеровые «поднимали иконы». За образами в церковь Богоявления шли девушки и женщины в пестрых платьях, в шелковых платках или полушалках, шли мастеровые в новых чуйках и расшитых рубахах и несли иконы, весело пестря цветистыми нарядами, вея яркими розовыми и палевыми лентами и оглашая весенний воздух молодыми, звонкими голосами: «Христос воскрес из мертвых...» Бывало, смотришь в окно на эти пасхальные «ходы», а няня либо мама скажет: «Вон щাপовские пошли за Владычицей» – или: «Вон кондрашовские Николу Угодника подняли».

Всю Фомину неделю и всю Мироносицкую каждый день идут по переулку эти добровольные крестные ходы на фабрики и мастерские, – и сколько народу за ними увидишь: все, даже пожилые люди, принаряжены, все в обновах, и черного ни на ком нет, все в цветном, в розовом, в палевом, а кто постарше – в густо-синем (в «кубовом», как тогда называли) либо в темно-малиновом. Несут образа, поют и то с одним, то с другим встречным, знакомым и незнакомым, похристосуются.

Полон народом бывал храм на Преображение: всем хотелось получить освященное яблоко – и староста, стоя подле священника, дававшего целовать крест, оделял яблоками тысячи богомольцев из тут же стоявшего ящика. Ребятишки ухитрились подойти ко кресту не по одному разу и на целый день запасались освященными лакомствами. Превосходный обычай! Не было в этот день ни одного нищего, который не разговелся бы освященным яблоком.

Множество народу бывало в церкви на зимнего и вешнего Николу – это был тоже приходский праздник; в храме был придел во имя этого угодника, столь чтимого русским народом,

²² Так назывались участки земли при церквях, обнесенные оградой, с луговинками, кустами, деревьями. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

что в одной Москве из каждых десяти престолов один был посвящен св. Николаю. Перед его образом пылали огромные пудовые свечи, возжигаемые взамен *тысяч* трехкопеечных и пятикопеечных свечей, приносимых к образу тысячами молящихся. Пламя этих свечей пылало, распространяя вокруг себя жар и зной.

Крестины и похороны были непрерывным ежедневным явлением у Богоявления, а каждое воскресенье, часа в 3–4, в церкви венчали пару за парой новобрачных, богатых и бедных, и всегда находились зрители – любители этих торжеств. Диаконы и псаломщики, ведущие метрические книги, были сущими канцеляристами: столь много приходилось им вносить туда записей о брачующихся и рождающихся.

Со времени чумы 1772 года было запрещено хоронить покойников подле церкви внутри города, и все городские погосты были закрыты, но на тенистом «монастыре» <...> – погосте Богоявления в Елохове были приметны еще следы могил под зеленым дерном, а над одной могилой еще стоял простой деревянный крест.

Это многолюдство прихода было так велико, что не в пример прочим приходам у Богоявления вместо одного священника было трое, а четвертый, так называемый «ранний батюшка», не занимая штатного места с приходскими доходами, получал от старосты ежемесячное вознаграждение: он служил ранние обедни и был особенно любим простонародьем.

И колокол на высокой колокольне под нерушимым соколиным гнездом был у Богоявления, как на соборной колокольне: могучий, широкогласый, щедрый на зов и призыв – такой нужен был для прихода, равного целому городу, его медный зов слышен был до самых окраин Елохова, до Яузы и до полотна Рязанской дороги.

Таково же было и духовенство: важное, голосистое, осанистое, что твои соборяне. Настоятель, протоиерей Иван Яковлевич Березкин, настоятельствовавший в храме Богоявления лет сорок, был член Московской консистории, а видом был сущий первосвященник Аарон – с окладистой «честной бородой», величественный в служении, строгий в поведении, невозмутимо спокойный в своем шествии с посохом, – насытившийся днями и – увь! – пресытившийся даже годами: он умер в 1920-х годах, в глубокой старости, впрочем, не избежав в конце жизни многих скорбей. Духовенство богоявленское редко звало служить архиереев: оно само по важности, по дородству, по пышности облачений не уступало архиереям – и приход со своею гордостью похвалялся своим осанистым и громогласным причтом.

Диво дивное для того, кто знает старый церковно-приходской быт: целых три просвирни питались «даянием благим» богоявленских прихожан – так много потреблялось просфор за обедней, а во многих московских приходах прихожане еле «поднимали» одну захудалую просвиру, перебивавшуюся если не с хлеба на квас, то с карася на окуня. Богоявленские же просвиры были сами подобны хорошо выпеченным румяным крупным просфорам.

Одним словом, богоявленскому причту завидовала вся Москва: приход, одновременно и простонародный и купеческий, считался *золотым дном*.

Про Елохово говаривали в Москве «народный приход». Если требовалась какая-нибудь благотворительная или патриотическая жертва, вызываемая нуждами времени: во время мира – на сооружение церкви в Сибири, на миссионерские дела в Северной Америке и в Японии, во время бедствий – на пострадавших там-то от землетрясения или наводнения, во время войны – на устройство лазаретов, на герцеговинцев, сербов и болгар, теснимых турками, – то митрополит главные надежды свои возлагал на такой народный приход, как Богоявление, на немногие ему подобные (Богоявление же в Драгомилове, Спас во Спасской, Василия Кесарийского в Тверских-Ямских, Флора и Лавра на Зацепе). На дворянские приходы между Пречистенкой и Никитской надежда была плоха: приходская сума здесь давно оскудела, да и никогда не была, должно быть, особенно торовата. Гораздо надежнее была народная богоявленская копейка, складывавшаяся в большие рубли.

Прошло много лет, в течение которых я не заглядывал в церковь Богоявления. Прогрела отдаленным, но гулким эхом неудачная японская война. Прошумела первая революция. Не за горами была уже и новая война. Вспомнив старину, я решил пойти с мамой к Светлой заутрене к Богоявлению. Все было то же: так же гудел густой и звучный богоявленский колокол, так же сиял огнями величественный храм, так же торжественно служил все еще бодрый протоиерей, еще более уподобившийся ветхозаветному Аарону, но я поразился, войдя с мамой в храм. Мы совершенно свободно в него вошли и так же спокойно, никем не теснимые, стояли утрению, будто это была не многонародная Светлая утренья, когда каждый, хотя бы не по вере, а по одному детскому воспоминанию, стремится во храм, а будто это была обычная утренья под большой, двенадесятый праздник. Бывало, яблоку – да не крутобокому антоновскому, а маленькому китайскому – некуда было упасть. «Морю велику сушу дышающую», как сказано в Евангелии, страшно было утонуть в этом народном море, влившемся в храм и дышавшем единым радостным живым дыханием. Теперь же в просторнейшем храме было не море народу, а разве что озеро, разбившееся на несколько отдельных заливов, рукавов, заводей и проливов, и этого общего «великого дыхания» народного уже не слышалось. Я поразился своему наблюдению. Куда же ушел этот народ, некогда наполнявший храм до почти смертельной тесноты? Елохово стало еще многолюднее: застроились бывшие пустыри, выросли дома в четыре, в пять, в шесть этажей, открылись новые фабрики, а храмов в окрестностях не прибавилось.

Очевидно, народу не ubyло, а прибыло в Елохове, но он начал уходить из храма, и не в другие храмы, а в совсем другую жизнь, вне всякого храма.

После первой революции началась новая эпоха в жизни старого Елохова.

Глава 2. О хлебе насущном

Как стал себя помнить, привык я слышать разговоры о том, что «все вздорожало», под Рождество «к гусям приступу нет, поросята-то кусаются», а под Пасху – «ветчина-то станет в копейку».

Как теперь соображаю, в этих слезницах было больше хозяйственной лирической словесности, чем дела. Совсем старые люди, правда, помнили совсем баснословные цены крепостных времен, когда поросята и целые свиньи не только не «кусались», а Христом Богом просили, чтобы их взяли почти даром с Немецкого рынка, где от них под Рождество свету божьего не было видно. Но и в 80-х, 90-х годах, даже в начале 1900-х годов жизнь в Елохове была необыкновенно дешева, и цены этих лет сравнительно с 1870 годами возросли на самую малость.

Прежде всего поражало в то время обилие всевозможных мест и углов, где можно было поесть и купить съестное и все нужное для жизни.

Торговых сосредоточий в Елохове было два: Гаврикова площадь²³ и Немецкий рынок.

Гаврикова площадь с серой деревянной водоразборной будкой посредине, с городовым, который больше озираал окружающую «злобу дня», чем вмешивался в нее, была вся пропитана тонкою белою пылью: эта пыль слоилась между крупными булыжниками площади, ею были прочерчены линии фасадов, белая пыль носилась в воздухе, серебра широкую бороду монументального городского, убеляя ломовых извозчиков и прохожих. Эта тончайшая пыль неслась из бесчисленных мучных лабазов, амбаров, складов, окружавших Гаврикову площадь со всех сторон, вылетала с огромной паровой мельницы, стоявшей за полотном Рязанской железной дороги, сочилась в воздух из товарных вагонов, подвозивших к товарной станции, имевшей специальную платформу-элеватор, на «Николаевке», соединительной ветке Курско-Николаевско-Рязанской ж.д., неимоверное количество муки, крупы и зерна из черноземной глубины России. Белые пасти амбаров и лабазов были раскрыты часов с 7–8 утра до 6–7 вечера, и в них бойко, упорно суетились в течение 10–12 часов люди в поддевах, в чуйках, в рубахах, пожилые и молодые, толстые и тонкие, но все до одного с бледными, белыми лицами. Это были хозяева и работники лабазов. Когда же по субботам они шли в баню в Девкин переулочек, все эти бледнолицые превращались в румяных парней, пышущих здоровьем, или в плотных крепких стариков, про каких говорят «ему веку не будет». Вся их бледность была от белого мучного грима, накладываемого их промыслом. Такими же бледнолицыми были и женщины, работавшие при лабазах; это были мешочницы, изготавливавшие и штопавшие мешки для мучных товаров.

И это громадное количество муки, хлебных злаков притягивало неимоверное количество грызунов – крыс, мышей. Помню, летом, поздней ночью, вернее, ранним утром, после чудесного дождя, который я переживал в одной из сокольнических беседок, я шел через переезд Гавриковым переулком домой. Подходя почти к дому, я увидел, что городской делает мне какие-то знаки рукой. Я подошел к нему, а он и говорит: «От крыс предостерегаю. Больно много, опасно затронуть». – «Какие крысы?!» – «А вон!» – указал он рукой. Я глянул, не сразу сообразил, а когда присмотрелся, то прямо остолбенел. На мостовой была лужа, она была окружена во много рядов черными спинками, а в последнем ряду палочками-хвостами. Умные животные пили по очереди, ряд за рядом, друг друга терпеливо ожидая и сменяя. Было их здесь, верно, не одна тысяча. Я долго смотрел издали на движение их спин и хвостов, стоя рядом с городовым, смотрел молча, сосредоточенно... «Опасные животные, – сказал наконец городской. – До свидания». И пошел мерным шагом вдоль лабазов, дергая замки, висевшие на массивных дверях.

²³ Ныне Спартаковская площадь.

Отсюда, с Гавриковой площади, где после 1905 года было построено большое дорогое здание Хлебной биржи, мука и крупа текли в лавки и хлебопекарни всей Москвы. «Хлеб насущный» был необыкновенно дешев в старой Москве, так дешев, что поневоле и неверующему человеку верилось, не могло не вериться, что прошение молитвы: «хлеб наш насущный даждь нам днесь» – доходило до Того, Кто научил простых рыбаков этой молитве.

Фунт отлично выпеченного ржаного хлеба из муки без малейшей примеси стоил до первой революции всюду в Москве *одну* копейку. Это был так называемый *кислый* хлеб, тот самый черный хлеб русской деревни, что вызвал у народа благодарное признание: «Матушка-рожь кормит всех дураков сплошь, а пшеничка – по выбору».

Другой сорт ржаного хлеба был *сладкий*. Он выпекался из той же муки, что и кислый, но был заварной, на солоде, и стоил в Москве в те же годы и повсюду на полкопейки дороже кислого – полторы копейки за фунт.

Цены эти я помню твердо, я проверил их по расходной книге мамы, сохранившейся у меня по сию пору, и их легко проверить по «Ведомостям Московского полицеймейстера» за 1880-1890-е годы, где из номера в номер печатались цены на хлеб.

Копейка – фунт хлеба – это великое дело. Это значит, что в те давние годы ни один человек в Москве не мог умереть с голоду, ибо кто же при какой угодно слабости сил и при самой последней никчемности не мог заработать двух копеек в день, шестидесяти копеек в месяц? А за них он уже приобретал два фунта хлеба – иначе сказать, обретал никем неотъемлемое право не умереть с голоду.

«Матушка-рожь» кормила всех «сплошь» – всех неработяг, всех убогих, ленивых, неспособных к труду или немощных на труд, «всех дураков», и цена фунта ржаного хлеба всегда была в России мерой – быть или не быть, жить или не жить этим беднякам и дуракам. Если крестьянин в урожае ржи видел как бы страховку своей жизни, гарантию своей независимости: «Не кланяюсь богачу, свою рожь молочу», то малый городской житель – фабричный, мастеровой, ремесленник, мелкий и мельчайший «служащий», бездетный или, наоборот, многодетный угловик-кбечник, наконец, просто нищий бездомовник – видел в цене ржаного хлеба самую возможность своего существования и признавался: «Когда рожь, тогда и мера». Русский человек кланялся черному хлебу: «Ржаной хлебушка калачу дедушка». И у него были все основания, живя в Москве, отвесить этот низкий поклон: не всем по карману была увесистая белая, так называемая французская булка, стоившая пять копеек, не всякому доступен был знаменитый московский большой калач из белейшей муки, мягкий, поджаристый, хрусткий и стоивший всего-то *пятачок*. Но ржаной хлебушка по копейке за фунт был доступен всякому, решительно всякому, даже наиничтожнейшему и наибеспомощнейшему человеку в Москве, а стало быть, всякий же, без единого исключения, всякий человек был застрахован в Москве от голодной смерти.

Когда нищий просил в давней Москве на улице: «Подайте, Христа ради, на хлеб» – и ему первый встречный подавал всего *копейку*, он мог уже утолить на эту копейку голод, а *вторая* – всего только вторая копейка от второго встречного прохожего – давала ему уже возможность получить хлебный паек, который считался достаточным даже в армии.

Я мог бы остановиться на одной этой простейшей цифре – копейка за фунт хлеба, – чтобы показать, как дешева была жизнь в прежней Москве, ибо, на всем протяжении русской истории от Гостомысла до текущей минуты, ценою на хлеб определялась мера если не благосостояния, то действительной сытости и истинного благополучия русского народа. «Дай Бог покой да хлеб святой» – вот вековое прошение и вместе заветное желание русского народа.

Но хлеб без соли не едят. И соль эта, лучшая, баскунчакская, стоила в Москве двадцать копеек за пуд, в розничной продаже на две копейки отвешивали три фунта.

Так легко было в Москве быть с хлебом-солью!

В любой харчевне «гостю», спросившему глубокую, с краями, тарелку щей за пятак (щи были мясные, наваристые, но за эту цену без куска мяса), к этим щам подавали целую грудку черного хлеба – и есть его можно было без всякого ограничения, досыта.

В любой пекарне никакому нищему ни один продавец не отказывал в даровом ломте черного хлеба: отказ в таком ломте считался бы делом зазорным и для продавца, и для хозяина, да и при дешевизне хлеба и нуждавшихся в даровом хлебе было немного.

В подмосковных монастырях любого богомольца три дня безданным-беспошлинно кормили постными щами с хлебом, а на дорогу «благословляли» фунтовым ломтем хлеба.

Хлеб продавался всюду: пекарни (в них не держали кондитерского товара) и булочные (с таким товаром) были на всех крупных перекрестках. Самые знаменитые из них были Филиппова (по всей Москве), Савостьянова (тоже) и Чуева (на Маросейке), но были и небольшие пекарни (например, Прыткова на Разгуляе), славившиеся своим хлебом. Ржаной хлеб выпекался квадратными ковригами в пять и в десять фунтов весом. Верхняя корка посыпалась либо тмином, либо анисом.

Но черный хлеб в любом количестве можно было достать во всякое время дня и в любой мелочной лавочке, торговавшей «колониальными» товарами. Лавочки эти были на всяком углу, думается, в минуте, в двух от любого покупателя по его месту жительства. «Колониальных» товаров в лавочках этих было не так уж много: чай, кофе, перец, гвоздика, но товаров «расейских», нужных для повседневного житейского обихода, было полным-полно: хлеб, баранки, мука, крупа, сахар, конфеты, печенье; дешевые сорта рыбы (сельди, вобла); колбасы, свиная грудинка, сыр, масло – русское, сливочное, постное; грибы сушеные и соленые, соленые огурцы, капуста, крахмал, синька, мыло, керосин, даже дратва. Все это было под рукой у любой хозяйки, и все это вдобавок отпускалось с охотой в долг на заборную книжку, уплата по которой производилась в дни получек жалованья.

Первым и главнейшим товаром и здесь был хлеб – черный и белый, и баранки.

В пекарнях же выпекалось множество сортов хлеба. Из ржаной муки выпекали пеклеванный (из намелко смолотой и просеянной ржаной муки), бородинский, стародубский, рижский. Из пшеничной муки сорта были неисчислимы: «французские булки» простые, с поджаристым загибом, обсыпанные мукою; маленькие копеечные французские хлебцы, именовавшиеся попросту «жуликами»; витушки из перевитых жгутов крутого теста; саечки, обсыпанные маком или крупной солью; сайки простые, выпекавшиеся на соломе, с золотыми соломинками, приставшими к исподу; калачи крупные и калачи мелкие и т. д., и т. д. Самым распространенным сортом пшеничного хлеба в народе был ситник (или ситный) по пяти и по семи копеек за фунт. Семикопеечный выпекался с изюмом. Первый, без изюму, испокон веку в Москве. Второй обладает недавней историей.

Первейшим хлебопеком в Москве был «придворный пекарь» Филиппов. Он так прославился калачами, что поставлял их к «высочайшему двору» в Петербург, и молва утверждала: сколько ни старался он печь калачи в Петербурге на невской воде, вкус был не тот, что на ключевой, громовой мытищинской воде, на коей замешивалось тесто в Москве. Кто же из настоящих прирожденных москвичей не знал стихов Языкова:

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим;
Боги сжалились над ним:
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева;
Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол – и ключ кипучий

Покатился... Пей, Москва!²⁴

Москва и пила мытищинскую громовую воду – лучшую воду, которую пил русский народ в те времена, и по праву хвалился москвич своей водой до тех пор, пока с начала 1900-х годов, с ростом города, не пришлось пустить в водопровод москворецкую воду. Знатоки хлебного дела уверяли, что и в хлебе с той поры «вкус был уже не тот». Придворный же пекарь Филиппов знал это давно и в курьерских поездах Николаевской железной дороги возил дубовые кади с мытищинской водой, дабы на ней месить тесто в невской столице для придворных хлебов. А калачи – шла молва – с пылу с жару, укрытые под особыми пуховичками, вазивал прямо с Тверской в Зимний дворец к царскому кофею.

В Москве в течение 35 лет, до 1891 года, правил князь Владимир Андреевич Долгоруков. Кому-то из его «близких со шпорами» придворный пекарь Дмитрий Иванович Филиппов (его хорошо знала моя мать) чем-то не угодил – вероятнее всего, обидел взяткою. «Близкий со шпорами» устроил так, что к князю был допущен некий мещанин – едва ли не в гороховом пальто – и принес жалобу на придворного пекаря, и тут же предъявил ситный с запеченным в нем тараканом. Князь, любивший по временам являть себя крайним народолюбцем, вспыхнул гневом и тотчас же призвал к себе Филиппова.

– Это что? – указал ему сиятельнейший (а может быть, и светлейший) князь на злополучный ситник.

– Изюм-с! – спокойно ответствовал придворный пекарь и тут же проглотил таракана, как наисладимейшую снедь.

Сиятельный развел руками от изумления, а затем, пригрозив десницей неизвестно кому – не то придворному пекарю, не то «близкому со шпорами» и мещанину в гороховом пальто, «проследовал во внутренние апартаменты».

Филиппов же тотчас ринулся в свою пекарню, бросился к чану, где месили тесто для ситников, потребовал, чтоб принесли пуд изюму, и приказал сыпать его в чан с тестом.

Пекари подумали, что хозяин их лишился рассудка. А оказалось совсем наоборот.

Наутро пришедший в себя Долгоруков, под наущением «близкого со шпорами», разослал мещан в гороховом пальто по филипповским булочным – и все они через некоторое время явились в генерал- губернаторский дом с весомым филипповским ситным, но в крайнем смущении: ситник был с изюмом.

Когда «хозяин Москвы» явился в приемную в сопровождении «близкого со шпорами» и обозрел собственнoглазно коллекцию ситников, он ткнул в один из них пальцем и грозно спросил «близкого со шпорами»:

– Это что?

– Изюм-с, – пришлось «близкому со шпорами» поневоле повторить ответ Филиппова.

– Как же ты смел?..

И тут раздалось столь властное и не совсем удобное к печати слово, что мещане в гороховом пальто присели от страху.

Филиппову на другой же день была назначена особо почетная аудиенция у сиятельного князя и выражена в присутствии многих особ сугубая благодарность за то, что он снабжает население Москвы по умеренным ценам превосходным хлебом лучшей выпечки.

– Я сам вчера имел удовольствие отведать один сорт вашего хлеба, – заметил в заключение генерал- губернатор, – с изюмом. Отменный вкус!

С тех пор московский мастеровой и ремесленник получили ситник с изюмом, и попить с этим ситником чайку в трактире было любимым развлечением московского «малого» человека.

²⁴ Стихотворение Н. М. Языкова (1803–1846) «На громовые колодцы в Мытищах».

Москва – все равно какая: дворянская, купеческая, ремесленная, мастеровая – исстари любила съесть некупленное и угостить некупленным.

Какой бы хлебец ни выпекался сладкий в пекарнях, как бы ни славился Филиппов калачами и ситным, Чуев – крутыми кренделями, а всякая хозяйка считала своим делом чести уметь поставить тесто и порадовать себя и близких по воскресным дням пирогами, к именинам – кулебякою, на масленицу – блинами, на Пасху – куличами.

В давнее время – я этой поры уже не помню – в нашем доме даже черный хлеб пекли свой: это было дело черной Арины, – и пекли так отлично, что когда перешли на покупной у Савостьянова, вспоминали про Аринин хлеб с похвалой.

Ржаная мука в Москве в 80-90-х годах стоила 3 рубля за пятипудовый мешок, следовательно, 60 копеек пуд – самого лучшего мелкого помола. Пудовый мешочек пшеничной муки стоил рубль девять копеек.

Можно было при этих ценах изощряться в пекарном искусстве!

Бывало, мальчиком идешь, весною или летом, от обедни у Богоявления мимо небольших домиков с геранями на окнах, в которых ютились мелкие служащие, мастеровые, ремесленники, – и из каждого окна доносится приятный, бодрый запах теста в печи: это пироги начинают «дышать» навстречу хозяину, возвращающемуся от обедни. А в других домиках – видно в окно – хозяин уже вернулся из церкви – домовито шумит самовар (медный! солнечно-медный! никелевые тогда еще были редкостью), а вокруг него возвышаются у кого горы, а у кого горки, а у кого только пригорочки пирогов; пар исходит от их горячего дыхания. После отцовского разорения мы жили совсем бедно, но я не помню воскресного дня, чтоб он обошелся без пирогов. Доводилось мне впоследствии бывать в совсем бедных квартирках портных, сапожников, фабричных, – но у кого только была русская печь, она по воскресным дням гостеприимно потчевала хозяев каким ни на есть да пирожком, разве только хозяин был горьким пропойцей или хозяйка была на удивление нерадива да нехозяйлива.

С чем с чем только не пекли тогда пирогов! С капустой – со свежей и квашеной, с морковью, с луком с яйцами, с грибами: с белыми, с рыжиками, с груздями, с грешневой кашей, с яйцами, с рисом, с сушеными грибами, с вязигой²⁵, со всякой рыбой, с мясом, с ливером, с изюмом, с вареньем всех сортов, со свежими ягодами – не перечить! Пеклись пироги скоромные, на русском масле, и постные – на подсолнечном, на горчичном, пеклись и полупостные – на скоромном масле, но с грибами или с рыбой. В именинные дни непременно пеклись кулебяки с начинкой, любимой именинником или именинницей. В чаянии разных гостей и желаний угодить на разные их вкусы заботливые хозяйки пекли кулебяки о четырех концах, один конец был с капустой, другой – с морковью, третий – с луком с яйцами, четвертый – с кашей.

В «помянные дни», в дни кончин и именин близких родственников, пекли блины поминальные. А так как суббота, по уставу Церкви, постоянный недельный день поминовения усопших, то во многих семьях по субботам пекли блины. Обычай этот был так тверд, что и в трактирах по субботам можно было поесть блинов, и даже рестораны в субботнее меню обязательно и постоянно включали блины.

В «Обжорном» же ряду между Ильинскими воротами и Владимирскими блины были постоянной снедью, продаваемою блинщиками и блинщицами. Точно так же и пироги со всякою начинкою постоянно подавались в трактирах, в харчевнях, на рынках, разносились пирожниками по торговым рядам и по санным и другим базарам. Пара пирожков в пирожной-закусочной в подвале Новых торговых рядов стоила пять копеек. Пирожник с деревянным лотком, укрытым стеганым одеяльцем, и блинщик со стопочками блинов на лотке, с жестяным кувшинчиком с маслом, с жестянкой же с сахарным песком были постоянными фигурами на московских улицах, площадях и рынках, в особенности там, где были люди, которым нужно было

²⁵ Вязига (визига) – употребляемая в пищу хорда, проходящая сквозь позвоночник осетровых рыб или сома.

поесть «на лету»: у извозчицких бирж, на базаре у возов крестьян, приехавших из Подмосквья, и т. д.

На масленице все Елохово, вместе со всею *народною* Москвою, было пропитано масленичным духом. Пятница и суббота на масленой неделе – никакие праздники, ни церковные, ни официальные, а между тем кто же в Москве из фабричных и ремесленников работал в эти дни? Даже учащихся «распускали» на масленицу на пятницу и субботу.

Иван Федорович Горбунов, великий и чуткий знаток старой Москвы, любил рассказывать, как некий поздравитель-вертопрах разлетелся к купцу с поздравлением:

– С широкой масленицей! Блины изволили кушать?

Но встретил грозную отповедь:

– Уйди ты! Разве я не православный?

На слух этого истого москвича вопрос «Блины изволили кушать?» звучал так же еретично, как если б его, прихожанина от Богоявления в Елохове, осмелился кто-нибудь спросить: «Креститься в купели изволили?»

Действительно, вопрос был глуп и излишен: блины в те времена «изволила кушать» вся Москва – от генерал-губернатора и митрополита до последнего оборванца, который ел за копейку блин на Хитровом рынке, до последней нищей старухи, которой подавали блин Христа ради. Блинов непременно давали отведать даже цепной собаке на дворе, да и бродячему псу не может быть, чтоб не перепало что-нибудь от масленичных яств.

На Пасху пеклись куличи по всевозможным рецептам, и как ни хорош был покупной кулич от Филиппова или от Чуева, в церковь несли освящать кулич своего печенья. Дешевизна муки в старой Москве приводила к преизобилию всевозможного «хлебного» в народном столе: какая же семья в Елохове, чаще или реже, не пекла оладьев, папушников, колобков, гренок и ушков (к грибной похлебке)? Какая же не месила белого теста на лапшу?

На пироги, на блины, на куличи, на оладьи нужно кроме муки еще много другого: масла, сахара, материала для начинки.

И все это было в Москве того времени в любом месте, в любом количестве и по самым сходным ценам.

Больше всего жаловались тогда на дороговизну сахара, но он стоил 11 копеек фунт (его звали обычно «мелюс») и 13 копеек колотый. Пиленый сахар был не в фаворе и стоил тоже 11 копеек.

Постное масло – подсолнечное – отпускали в розницу копеек по 12–13 за фунт самое чистое. Сливочное масло стоило 20 копеек фунт, самое лучшее – 23 копейки. Русское, топленое, масло – 18 копеек фунт. При таких ценах на масло можно было справлять масленицу так маслено, как она справлялась в ушедшей Москве!

Но можно было в то время столь же хорошо справлять и «мясоед», и рождественский, и Светлый, и какой угодно, коли фунт самой лучшей, черкасской, говядины (вырезка, огузок, филе) стоил 12–13 копеек фунт (я все время справляюсь с записной книгой матери, веденной в 80-90-х годах), а остальные части говядины шли по 11, по 10 копеек. Лучшая свинина, заплывшая салом, отпускалась по 15 копеек фунт. Самая тонкая по заготовке, нежного засола, ветчина продавалась по 30–35 копеек фунт.

Легко было и соблюдать посты в прежней Москве, если белуга стоила 18 копеек фунт, а осетрина – 20 копеек, а более обычные сорта рыбы – судак, лещ – были нипочем. Сомовину – хоть и жирную – многие не ели, брезговали, доверяя деревенской молве, что сомы, случается, утаскивают и пожирают детей; в малом уважении была и зубастая щука, ее покупали неохотно.

Селедка, при штучной продаже, самая лучшая, голландская или королевская, стоила 7 копеек, были и за 5, и за 3 копейки. Астраханская вобла стоила копейку штука.

Тысячи раз я видел такую картину: тянется с Гавриковой площади обоз с кулями муки или тушами. Возчик, бегом обогнав обоз, забежит в угловую мелочную лавочку и, купив там

фунт хлеба и жирную воблу, спокойно идет подле обоза, завтракая на ходу. Всего на весь завтрак ему понадобилось минуту времени и две копейки денег.

Овощная часть была уже совсем ничем: фунт лучшей квашеной капусты стоил 3 копейки, десяток соленых огурцов – пятак. Сушеные белые грибы, лучшая приправа всех постных яств, стоили четвертак (25 копеек) за фунт. Соленые грибы – рыжики, грузди и пр. – 10–12 копеек.

Москву кто усмешливо, кто ласково звал «чаевница». Москва любила попить чайку. Всевозможные «искусственные воды», мнимые «ситро», «вишневые» напитки и «клюквенные морсы» были тогда не в ходу: любителей отравлять ими свои желудки не находилось. Зато чай пили всюду: дома и в гостях за самоваром (никаких чайников, вскипяченных на примусах, не было в помине), в трактирах, харчевнях, в гостиницах, на постоянных дворах, на вокзалах, в буфетах при театрах и клубах. Удовольствие это было самое дешевое. В любом трактире за пятачок (пятачок был вообще важной денежной единицей в московском старом быту, весьма полноценной)²⁶ подавали «пару чая» – два фарфоровых чайника, – один, средних размеров, с заваренным накрепко чаем, другой, очень большой, вроде белого лебедя с носом, изогнутым наподобие лебединой шеи, с кипятком из тут же непрерывно кипевшего огромного самовара. При «паре чая» полагалось четыре больших куса сахара на блюдечке. Выпив целый лебединый чайник кипятку, посетитель имел право требовать кипятку еще сколько угодно, докуда не «спивал» весь заваренный чай, приговаривая:

– Хозяин-то русский, а чай-то жидок.

Чайные и трактиры были на любом перекрестке, в особенности в таких народных окраинах, как Елохово, и весь зябнувший на труде народ – извозчики, возчики, разносчики, приказчики – мог греться чайком всюду, всегда и постоянно, так как некоторые чайные торговали всю ночь напролет.

Чай был сущим благодетелем этого трудового люда. Вместо того чтобы обогреться на спиртовых парах, что не вело к добру ни прежде, ни теперь, когда так широко была развернута (до войны) продажа водки распивочно в киосках и буфетах, этот озябший люд обогревался мирно чайком, не ведущим ни к какому буйству и разорению. Не раз приходилось мне слышать от пожилых рабочих и от извозчиков:

– Каждый день Богу молюсь за того, кто китайскую травку выдумал.

За чаем в трактирах и харчевнях делались важные дела, заключались торговые сделки на большие тысячи, происходили юридические консультации с ходатаями по делам, составлялись и писались прошения и завещания.

За «парою же чая» с лимоном (он стоил, самый лучший мессинский, 5 копеек) происходили на елоховской фабричной окраине и любовные встречи – вроде той, о которой поется в прелестной частушке, сложенной какой-нибудь девушкой с ткацкой фабрики:

Чайник чистый, чай душистый,
Кипяченая вода.
Милый режет лимон свежий —

²⁶ Татьяна Львовна Щепкина-Куперник однажды, в начале 1890-х гг., побилась об заклад с приятельницей А. П. Чехова Л. С. Мизиновой, что на один рубль подарит ей двадцать нужных предметов, и каждый из них будет ценою в пятачок. Мизинова заранее считала себя выигравшей пари. Но вот что подарила ей Татьяна Львовна: из съедобных вещей: 1) французскую булку, 2) пеклеванный хлеб, 3) большой вяземский пряник, 4) медовую коврижку («батон»), 5) плитку шоколада; из предметов туалета и хозяйства: 6) казанское мыло, 7) кокосовую мочалку, 8) черный английский пластырь, 9) розовый пластырь, 10) катушку ниток, 11) пачку иголок, 12) пачку булавок; из предметов писательского обихода: 13) тетрадь, 14) 10 листов почтовой бумаги и 10 конвертов, 15) 5-копеечную городскую марку, 16) карандаш Фабера, 17) красный карандаш его же, 18) ручку-вставочку, 19) дюжину стальных английских перьев, 20) резинку для стирания карандаша и чернил. Каждый из этих 20 предметов, полезных, высокочудотворных, стоил пятачок. Мизинова должна была признать, что проиграла пари. (Со слов Т. Л. Щепкиной-Куперник, август 1942") Такова была покупательная сила пятачка полвека назад! (Примеч. С. Н. Дурылина.)

Не забыть мне никогда!

А бесконечные домашние чаепития! Принято думать, что они были уделом одних купцов и купчих, «баловавшихся чайком» до седьмого поту. Но это неправда. В елоховские времена я вспоминаю бесконечные чаепития, длившиеся часами, не только не в купеческих, а в противокупеческих местах: в комнатухе бедняка-студента где-нибудь на антресолях домика, трясущегося от ветхости, в еще более или менее тесной комнатке рабочего, к которому студенты пришли по «путаному» делу, как выражалась няня. Фунт настоящего китайского чая, байхового, привезенного в Россию сухим путем через пустыню Гоби²⁷, стоил 1 рубль 20 копеек; но чай продавался в самых малых «развесках» – и восьмушка стоила всего 15 копеек. Этот пятиалтынный был незаметен ни для какого студента, живущего грошовыми уроками, или рабочего, не уступающего ему в малосостоятельности.

Борис Садовский²⁸ посвятил целую книгу стихов «Самовару», но у него нет ни этого студенческого самовара, за которым всю ночь решался один вопрос: есть Бог или нет, ни этого рабочего самовара, за которым, тоже всю ночь, составлялся текст прокламации, которую надо отпечатать на гектографе к завтраму, чтобы расклеить завтра же по елоховским фабричным переулкам и закоулкам.

А эти самовары так памятливы своим бодрым крепким чаем и своим еще более бодрым юношеским бурленьем и шуменьем: под их шум так хорошо бурлила наша не очень рассудная, но честная юность!

Об этом милом идеалистическом самоваре сказал только один поэт, но хорошо и, главное, верно сказал. Это бездельный и нищий Фофанов; вот отчего и его стихи эти запомнились мне в юности. У них нет заглавия.

Потуши свечу, занавесь окно.
По постелям все разбрелись давно.
Мы одни не спим, самовар погас.
За стеной часы бьют четвертый раз!
До полуночи мы украдкою
Увлекались речью сладкою.
Мы замыслили много чистых²⁹ дел,
До утра б сидеть, – да всему предел!..
Ты задумался. Я сижу, – молчу...
Занавесь окно, потуши свечу³⁰.

С чем мы пили чай за таким самоваром? Не помню: не вприглядку и не вприлизку, а вприкуску, а многие и внакладку; я уже сказал, что пиленный сахар и мелюс стоили 11 копеек, а колотый – 13 копеек. Но пили чай и с дешевой карамелью, и с леденцами – ведь в те времена хорошая карамель от Яни (кондитерский магазин этого Яни Панайота был у Ильинских ворот и в Лубянском пассаже, а фабрика – в одном из переулков, выходивших на Немецкую улицу) стоила всего 20 копеек в коробке, а у Эйнем самая дорогая – 50 и 60 копеек.

²⁷ Такой чай ценился выше чая, привезенного морским путем из Шанхая вокруг всей Азии, так как при морском пути чай увлажнялся и терял ту драгоценную ароматную сухость, которая сохранялась при переезде через сухую пустыню Гоби. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

²⁸ Сборник поэта Б. М. Садовского (1874–1952) «Самовар» вышел в московском издательстве «Альциона» в 1914 г.

²⁹ Может быть, славных? Не помню! (Примеч. С. Н. Дурылина.)

³⁰ Стихи поэта К. М. Фофанова (1862–1911) «Потуши свечу...».

При любом чаепитии, случайном и внезапном, – так было заведено у нас в товарищеском кругу в «дни учения» и еще более в «дни странствий» – можно было свободно требовать только одного угощения – черным хлебом.

– Чай да сахар! – это приветствие пьющим «китайскую травку» дома ли, в трактире ли было так же всеобщее на устах елоховского москвича 80-90-х годов, как общерусское приветствие человеку, вкушающему пищу: «Хлеб да соль!»

Я не припомню в старой Москве места и случая, где бы и когда бы не уважалось или не принималось в расчет желание доброго или даже недоброго человека «попить чайку».

Теперь покажется странно, но в ученых заседаниях Московского археологического общества и на собраниях Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева всех присутствующих непременно «обносили чаем», с лимоном, со сливками и с печеньем. Человеку, пришедшему в наш дом по делу и никому в доме решительно не знакомому, немедленно предлагали стакан чаю. Бывало, придет из города мальчик с покупкой, сделанной матерью в таком-то магазине, и она непременно спросит няню: «А чаем его напоили?» Полотеры, натиравшие у нас в доме полы, неизменно чаевничали с кухаркой Марьей Петровной на кухне. Почтальон, принесший письма, не отпускался без стакана-другого чаю. «С морозцу-то хорошо погреться», – говорилось ему, ежели он вздумывал отказываться, ссылаясь на спешку, и он с благодарностью принимал этот действительно резонный резон.

Когда я был однажды арестован по политическому делу и отведен в Лефортовскую часть – а было это ранним утром, – помощник пристава, заспанный и сумрачный субъект, вовсе не чувствовавший ко мне никаких симпатий, принимаясь за первое утреннее чаепитие, предложил мне:

– Да вы не хотите ли чаю?

И, не дожидаясь согласия, налил мне стакан! К чаю я не притронулся, но поблагодарил совершенно искренне: приглашение его было чисто московское.

И когда пришлось мне впервые, в те же годы, попасть в более серьезное место – в охранное отделение, – там мне тоже, и опять без всякой задней или передней мысли, предложили стакан чаю. Я от него отказался: мне было не до чаю, но ничуть не удивился приглашению – кто же в Москве, распивая чай, не предложил бы стакан другому, хотя бы и совершенно постороннему человеку? Не угостить захожего человека чаем считалось в Москве верхом ненужной жесточи³¹ и скаредности.

– Он (или она) чаем не напоил! – такая чья бы то ни была жалоба на нерадушного или скаредного человека принималась всеми в Елохове и во всей Москве с полным и безусловным сочувствием к жалующемуся и со столь же решительным осуждением обидчика.

* * *

Выйдя с Гавриковой площади вслед за обозом с мукой, я далеко зашел – вплоть до пустыни Гоби, через которую везут в Москву лучшую «китайскую травку», – и как будто миновал Немецкий рынок, на который должен был пойти после Гавриковой площади, но в действи-

³¹ Значение этого устаревшего слова Дурьин объясняет в своей работе «Николай Семенович Лесков. Опыт характеристики личности и религиозного творчества» (1913) (см.: журнал «Москва», 2011, № 2): «Ни к кому другому так не хочется применить двух старорусских слов: простыня – и жёсточь. В этой немирной душе (Лескова. – А. Г.) жила какая-то непрекращавшаяся тяга к тихости, почти к святости, к тому, что в Древней Руси называли "простыня". Это – не простота, которая иногда бывает хуже воровства, это – всегда равное в себе разлитие в человеке тихого и верного благомыслия, благоволения, благодушия, которое редко дается как природный дар и чаще всего христиански нудится. Лесков-то, создатель старца Памвы и кроткого отца Кириака, знал это жизненное состояние, завершением которого является не смерть, но „кончина живота нашего, безболезна, непостыдна, мирна“. Но в нем же сторожко жило и то другое, для чего не подберу иного слова, чем древнерусское же "жесточь"».

тельности я уже давно на нем нахожусь, рассуждая «вспоминательно» о всяких скоромных и постных снедах.

Все эти снеди, скоромные и постные, продавали на Немецком рынке в необъятном, казалось, неисчерпаемом количестве. Ими набиты были магазины, лавки, лавчонки, амбары, лотки, поставцы, ларьки, возы, телеги.

Взять хоть бы мясные лавки. Холодные, насквозь пропитанные морозом, мрачные, с огромными чурбанами для разрубки туш, напоминавшими кровавые плахи для казни преступников, лавки эти были набиты всякими мясами до тесноты. Иссиня-красные туши – бычьи, свиные, бараньи – вздымались от полу до потолка. К потолку же были привешены, распустив крылья, тетерева, глухари, куропатки, рябчики. На полках по стенам, как на тесных нарах в ночлежном доме, лежали гуси, индейки, утки, куры. Для немногих любителей «не показанной законом» снеди висели несколько зайцев: их редко кто покупал, считая погаными. Здоровенные мясники, засучив рукава, с огромными ножами и топорами за ременным поясом, прохаживались по лавке, греясь взаимными тычками и забористыми словечками.

Таких лавок были десятки, и покупатель мог выбрать то, что ему нужно, – на всякий едальный вкус – от потомственного наследника Собакевича, охотого до бараньего бока, до утонченного любителя вальдшнепа. И, вспоминая мясную линию Немецкого рынка, я думаю: «Вот бы туда старых голландцев и фламандцев, любителей мясных *nature morte*’ов: какую бы удивительную по разнообразию и кровавой мясной сочности картину нашли они там! Вот бы туда милейшего Петра Петровича Кончаловского с его падкостью на иссиня-красные мяса, вызывающие у него на полотнах неудержимый размах буйной киноvari, сурика и женой охры».

Но для меня эти мясные лавки с детства были предметом отвращения, я спешил поскорее пройти мимо них и, не чувствуя никакой привязанности к мясной пище и по целым годам становясь вегетарианцем, никогда за всю жизнь не мог взять в руки куса сырого мяса.

Рыбные лавки на Немецком рынке были особая статья. Многопудовые осетры с острейшими, как иглы, носами; грузные, не в подъем одному человеку, белуги; розово-желтые семги, каких не увидишь и в Архангельске, на их родине, занимали здесь то место, которое в мясных лавках принадлежало бычьим и свиным тушам. Судачки, караси и лещи «пылкого заморозу» соответствовали здесь крупной птице – гусям и индейкам: эти еще были на виду и на счету, а весь прочий рыбий народ был без счету, им были набиты огромные многопудовые плетенки и короба из щепы, стоявшие на полу. Тут же стояли целые мешки с белозерскими снетками – мелкой сушеной рыбкой, из которой варили сытные вкусные щи и картофельную похлебку, фунт их стоил копеек 15. За все последние 24 года я не видал в Москве ни единого снеточка; куда они девались – ума не приложу: не высохло же Белоозеро, не вымерла же в нем вся рыба? А снеток был великим подспорьем малоимущим хозяйкам. С ним пекли и блины. В полутеплых помещенищах при рыбных лавках стояли большие деревянные чаны с живой рыбой – тут в жуткой тесноте рядом со смиренной подмосковной плотвой извивалась кольцом стерлядь, уроженица Оки или Волги.

Целые кади были полны черным жемчугом икры – зернистой и паюсной. Я говорю «черным», потому что красной кетовой икры тогда и в помине не было, она появилась в Москве после японской войны, и сначала на нее недружелюбно косились, как на шуковину или сомовину: эта рыба-де для нехристей, а эта икра-де – икра для нехристей, недаром, мол, она добывается из «кита-рыбы». Да и какая была особая нужда в этой новой красной икре, когда лучшая черная паюсная осетровая икра стоила 1 рубль – 1 рубль 20 копеек, а зернистая – 1 рубль 10 копеек – 1 рубль 50 копеек за фунт?

В пост сам протопоп жаловал в рыбные лавки и отбирал себе рыбку для ушицы и для заливного. Посты соблюдались в то время строго, и на постный стол были тогда истинные знатоки и мастера.

Волга, Кама, Шексна, Дон, Обь, Белоозеро, Ладога, Онега и четыре моря – Белое, Балтийское, Черное и Каспийское – слали в Москву лучшую рыбу – живую, вяленую, сушеную, малосольную, соленую, копченую, – и нигде в мире рыбный стол не был так обилен, разнообразен и изыскан, как в Москве. Мне было смешно читать в дневнике Гете торжественные записи о том, что в такой-то день он отведал у своего *serenissimus'a* (герцога) черной икры, а в такой-то кушал осетрину. Вот невидаль для старой Москвы! В трактире Егорова в Охотном ряду или у Тестова пышный «дышащий» расстегай с осетриной, с тарелкой ухи стоил 35 копеек!

Однажды мы с моим приятелем поэтом Мешковым, бродя по Москве, забрались за Семёновскую заставу, пошли по шоссе мимо укромных мещанских домишек и забрели так далеко, что захотелось есть. Мы зашли в первый попавшийся трактир (синяя вывеска с золотыми и белыми буквами), и, продолжая разговор о поэзии, я броском, будто в хорошем ресторане, спросил:

– Дайте белугу под хреном.

И не успели мы решить, кто ближе к чистому лиризму – Полонский или Фет, как уже явилась белуга под хреном, с красным виноградным уксусом.

Много лет спустя я прочел в записной книжке Чехова, которому не было ничего чужого и неинтересного в его России:

«Грязный трактир у станции. И в каждом таком трактире непременно найдешь соленую белугу с хреном. Сколько же в России солится белуги!»³²

В 1913 году в Москву приехал Эмиль Верхарн³³. Он был в восторге от Москвы, от ее «лица необщего выражения»³⁴ и написал об этом в «Русских ведомостях». Его возили по московским достопримечательностям – всюду потчевали то завтраком обыкновенным, то завтраком *a la fourchette*, то обедом, то чаем с фруктами и шампанским, то ужином. Сухонький старик с большими усами, изящный, стройный, живой, скромный, – вместе с такой же супругой, седой, сухенькой, живою, любезной и скромной, благодарил и кушал, кушал и благодарил. Но когда на банкете, данном Верхарну Литературно-художественным кружком³⁵, его ввели в зал и он быстро, сквозь пенсне оглянул парадный стол, сверкающий белоснежной скатертью, серебром, хрусталем, и увидел на нем огромную серебряную лохань, а в ней четырехугольный куб льда с выдолбленной серединой, сплошь наполненной зернистой икрой, с погруженной в нее серебряной лопаткой, впечатлительный фламандец не мог сдержать своего изумления и воскликнул:

– C'est colossal!³⁶

По-московски это не было «colossal»: в ледяной глыбе всего-навсего было с полпуда осетровой икры!

Кругло-желтые, как яичный желток, круги русского масла, точно жернова с неведомой мельницы; исполинские плиты-кирпичи сливочного масла, будто выточенные из слоновой кости; сорокаведерные бочки с подсолнечным маслом – смотря на них в масляных лавках, казалось, что это запасы для великанов, глотающих масло глыбами, а не для мирных обывателей Елохова.

В «колонияльных магазинах и лавках», наполнявших Немецкий рынок (самым знаменитым был братьев Рудневых, откуда брали товар в наш дом), можно было в любое время достать все – от рябины в сахаре до бородатого кокосового ореха из Африки, от сушеной малины и

³² См.: А. П. Чехов. Полн. собр. соч. Изд. 2-е. Т. XXIII. С. 66. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

³³ Верхарн Эмиль Адольф Густав (Verhaeren Emile; 1855-1916) – бельгийский поэт-символист, русские переводы его стихов были сделаны В. Я. Брюсовым, М. М. Волошиным, А. А. Блоком, Эллисом.

³⁴ Цитата из стихотворения Е. А. Боратынского «Муза» (1830).

³⁵ Литературно-художественный кружок (1898–1917) объединял главным образом художественную интеллигенцию Москвы.

³⁶ Это колоссально (фр.).

земляники до финика из Аравии и сигар из Гаваны. В колониальных магазинах высились целые пирамиды из цыбиков чаю, увернутых в зеленоватые циновки тонкого плетения, с китайскими письменами, написанными резко-черной тушью. Каких-каких только сортов чая не продавалось в Москве – от драгоценного «императорского» лянсина «Букет китайской императрицы», дающего настой бледно-лимонного, почти белого цвета, до крепких, как куски черного гранита, плиток «кирпичного чаю»! Любители чая (а кто в Москве не был его любителем?), истые знатоки искусства чаепития знали в точности всю иерархию чаев – «черные ароматические», «цветочные ароматические», «императорские – зеленые и желтые», «императорские» лянсины и «букетные белые чаи». Среди черных чаев славился у знатоков «Черный перл», употреблявшийся при дворе богдыхана. Самым дешевым среди лянсинов был «Инжень, серебряные иголки», в 2 рубля 50 копеек, а самым дорогим – «Букет китайских роз»: он стоил 10 рублей за фунт; дороже этого сорта не было чаев. Из «зеленых» чаев любители пили «Жемчужный отборный Хисон», а из «желтых» – «Юнфачо с цветами». Были еще так называемые «резаные чаи» для любителей особо душистого чая. Но все цены от 1 рубля 60 копеек до 5 рублей за фунт. Чай продавался всюду – в чайных магазинах, в колониальных, в мелочных лавочках, но кто хотел, так сказать, подышать самым воздухом далекой родины чая, тот отправлялся в китайские магазины. Один из таких магазинов – «Та-Шен-Юй» – был на Покровке, неподалеку от Земляного вала. В нем была всегда тишина, стоял чистейший сухой и нежный запах чая, на прилавках размещались большие китайские фарфоровые вазы, и невозмутимо улыбающиеся китайцы (без лет: невозможно было решить по их лицам, старые они или молодые), в длинных балахонах из белого шелка, в кофтах из чесучи, с длинными, до пят, черными как смоль косами, продавали, еле говоря по-русски, чай, только чай, да еще чесучу и фанзу – шелковые материи несравненной прочности.

Но я все говорю о лавках, магазинах, амбарах, лабазах, а ведь Немецкий рынок был сверх того еще и базар – ежедневный, непрерывный базар, весь заставленный телегами и возами, приехавшими из ближайшего, а часто и далекого Подмосковья со всевозможной снедью, производимой подмосковными огородниками и крестьянами.

Тут все – и мясо, и битая птица, и рыба, и масло, и сметана, и творог, и овощи, и плоды, и грибы – было еще дешевле, чем в палатках и лавках. Кто же из сколько-нибудь хозяйственного люда в Елохове покупал огурцы, морковь, капусту, картофель в лавках? Все это покупалось с воза, от огородника, от пригородного крестьянина, все это было не лежалое, не мятое, не вялое, а самое свежее, еще с блестками росы, еще с запахом вольного простора. Огородник из-под Перова или подальше, из-под Угреши, на поздней вечерней, а то и на ранней утренней заре «снимет» с грядок огурцов или другой зелени, покладет на воз – и к 6 часам утра уже продает их с воза на Немецком рынке. Москва ела тогда только самую свежую, только что расставшуюся с грядкой зелень – и в количестве неограниченном. Огурец в июле и в августе в Москве был дешевле дешевого. Первый огурец – ранний – продавался не на вес, а по десяткам: плати пятак, а то и три копейки, смотря по урожаю, и выбирай с возу, какие хочешь: любишь в локоть величиной – бери в локоть, предпочитаешь в мизинец – бери в мизинец, охота на пузатые крепыши – бери пузатых. В твой вкус никто не «встревался»: огурец был так обилен и дешев, что огороднику было не до расчета, наберешь ли ты за пятак десяток огурчищев, этак на фунт весу, или отберешь огурчиков, что не потянут и на полфунта. Да, умный огородник к тому же по опыту знал, что один вкус покупателя, несхожий с другим, приведет к тому, что и один вес покроет другой вес – и в итоге протори³⁷ не будет.

Москвич, живший лет сорок и даже тридцать тому назад, удивился бы, если бы ему предложили купить огурцы на вес: он покупал их или десятками (в июне), или мерою (в июле, в августе).

³⁷ Протори – убытки, издержки, расходы, согласно словарю В. И. Даля.

То же было с яблоками: покупателя, который попросил бы «отвесить» ему фунт антоновки или белого налива, засмеяли бы приказчики, все равно как если бы он предложил на дровяном складе отвесить ему пуд дров или десять фунтов угля. Яблоки и груши также покупали десятками или мерою. Продажа их настоящая начиналась после Второго Спаса, после Преображенья (6 августа по ст. ст.). До этой поры, до церковной молитвы над яблоком, «вкусать от плодов» считалось грехом. Плодоводы и торговцы фруктами следовали этому обычаю. А обычай был прекрасный: страх греха, ограждая яблочный сад, давал яблокам время вызреть, поспеть, что в нашей Средне-Волжской Московии и совершалось примерно около этого времени: не рвали яблоков без толку, до времени их спелости.

Яблоки продавали также с возу, из ящичков, где они, алые, наливные, крутобокие, нежилась на золотившейся свежей соломе.

Яблоко с августа по октябрь, как и огурец с июня по август, было в то время в Елохове у всякого в руке. А кто хотел уж самого дешевого огурца, яблока или ягоды, тот шел на «Болото» – на Болотную площадь между Большим и Малым Каменным мостом. Там уж цена была такова, что даже в шутку и «к слову» нельзя было молвить, что «огурец кусается», а к «боровинке приступу нет». «Приступ» был там так открыт для всех, хотя бы обладающих капиталом «на десерт» всего размером в пятак, что «десерт» этот был доступен всякому. На гривенник можно было купить фунтов шесть красной или фунта четыре черной смородины. Вишня была дороже – от пятачка за фунт.

Немецкий рынок – это был в столичном городе кусок уездной России, где пахло огородом, садом, лесом, полем и всем, что они давали человеку. Казалось, какой-то черноземный Мценск (Амчѣнск, по народному выговору) или приволжский Хвалынск вклинивался на время на площадь столичного города – и заполнял ее на время своими телегами, обозами, тушами, огурцами, арбузами, мешками с мукой, кадушками с медом, кадиями с солеными грибами, ящичками с яблоками, «сивками-бурками» с жеребьями, бородатыми мужиками, пахнущими дегтем, цыганами с серьгами в ухе, бабами в зеленых юбках и красных полушалках, заполнял своим крепким «крылатым словом», своим скрипом и гамом. Что говорить! – шумно, гамно, тесно, грязно, юровато, а иной раз и воровато, но зато всем доступно, всем обильно, сытно, сочно, маслено, дешево.

Но кто не любил тесноты, кому претил базарный шум, не люб был разговорчивый торг, кто любил сидеть дома, к тому все это или почти все, что было на рынке, приходило под самое окно, стучалось в самую дверь тихомирного домика.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.